



# РУССКИЙ МУЗЕЙ



**Д**верь была открыта, в коридоре — свалка. Наметанным глазом он оглядел ее. Рожок для обуви? Повертел в руках. В кресле сидела Яло и тыкала в мобильник. Бедра обмотаны шарфом.

— Привет! — Он оглядел комнату. Понял, что всё еще держит рожок, положил его.

Яло подняла глаза:

— А, Сережа... — Она тоже называла его Сережей. — Чай будешь?

Она пошла на кухню, он продолжал разглядывать комнату. Сервиз на месте. Потрогал абажур над головой, запахло пылью. В кухне засопел чайник.

Яло стояла у плиты и грела ладонь над паром. Стала поправлять шарф на бедрах.

— Как дела? — спросила, глядя на чайник.

Чайник уже пускал молочный пар.

— Дела — у прокурора...

— Слей это. — Сунула ему чайник со старой заваркой.

Снова коридор, горы обуви. Носик чайника слегка отбит, но это не трагедия. Тоже пригодится.

Ощупал стену в поисках выключателя. Вспомнил, как приносил сюда стульчик, снимал тапки и вставал, чтобы дотянуться. Снимать тапочки его приучила Баболя.

Зажглась лампочка в самодельном абажуре, он помнил, как Баболя его делала, а он стоял возле стола. Внутри ванной тоже было как раньше. Сидушка с натянутым на нее вязаньем. Щетка с окаменелыми комочками пасты. Узнал свою, маленькую.



## Сухбат АФЛАТУНИ

Яло курила на балкончике.

Отложила сигарету, заварила ему чай.

— Как она? — спросил, грея ладонь о чашку.

— Сейчас увидишь.

Он поднес чашку к лицу и погрел ею губы. В квартире холоднее, чем на улице.

— Пойду скажу, что ты пришел. — Яло поднялась. Пока он ходил, она причесалась, исчез шарф. Ей где-то двадцать три. Как и его второй жене, теперь уже бывшей.

— Она не спит?

— В шесть просыпается. — Яло зевнула. — А потом у нас утренние процедуры.

— Думал, еще спит.

— Говорю, в шесть, а иногда в пять. Плохо слышать стала.

— А что с отъездом?

— Что — с отъездом? Пока жива — какой отъезд? На днях что заявила? «Пока не свозите в Ленинград, не помру, буду вас мучить...» Налить еще?

Он пододвинул чашку.

— Я говорю ей, — Яло подняла чайник. — «Куда тебя такую везти, в какой Ленинград?...»

— А кровать?

— Что — кровать? На месте, блин, куда ей деться...

— Вну-у-ча! — донеслось из спальни.

— Че-е-его?! Ну че-е-его тебе?!

Голос Баболи был тем же, без перемен.

— Вну-у-ченька!

— Не слышит, блин, тетеря. — Яло плюхнула чайник, крышка покатилаь, он успел поймать.

Баболя была его няней. Баба Оля, если правильно. Но все ее называли Баболей. И он ее так называл.

Родители весь день работали. Родственников в этом городе, куда их прислали по распределению, у них не было.

## РУССКИЙ МУЗЕЙ

С детсадом тоже не получилось. Больше болел, чем ходил туда. И ничего не мог там есть. Родители не знали, что с ним делать. И отдали Баболе.

Ему было два года. Он еще не говорил. «Сирожет-дин? — переспросила Баболя мать. — Будет Сережа».

Баболя жила с внучкой, высокой, еще и туфли на каблуке. Внучка только окончила школу, уехала в Ташкент поступать в пединститут. Поэтому Баболя была одна. Внучка пару раз приезжала, они закрывались в спальне, шептались. Иногда шепот переходил в крик. Кричала внучка, Баболя голоса не повышала, держала питерскую марку.

А у него с Баболей всё складывалось отлично. Он ел всё, что она готовила. Она накрывала стол в гостиной. «Сервировала», говорила она. Даже обычный суп они ели из сервиза. Хотя обычных супов у нее не бывало, всё с выдумкой. Не так, как в садике, не так, как дома, не так, как в Ургенче у бабушек и дедушек, куда его возили два раза. Оба раза в Ургенче он болел, перепугав своих родных бабушек. А у Баболи даже не пытался заболеть.

На выходные он бывал дома с родителями. Смотрел телевизор или гулял сам во дворе. Родители между собой говорили по-узбекски, а с ним — по-русски. Ему делалось скучно, и он шел к Баболе, в выходные тоже. Стучал в дверь условным стуком. «Иду-иду», — слышалось изнутри. И звук каблуков. Баболя дома ходила в той же парадной обуви, что и на улице. Тапок не признавала. Только когда ноги распухли, перешла на тапки, нарядные, с меховыми помпонами. Он пару раз тайно терся о них щекой.

Телевизора у Баболи не было, она сама была живой телевизор. Читала ему книжки, напевала песни, много рассказывала. О своей жизни, о Ленинграде, о войне. Иногда вытягивала (он помогал) из шкафа толстую книгу. «Ры... У... Ру... Рус...» — читал он по буквам. «Русский музей», — читал позже, уже научившись. В этом Русском музее до войны ра-

ботала Баболя. В книге, правда, про Баболю ничего не было, ни ее портрета, ни фотографии. Но Баболя на эту несправедливость не обращала внимания. Они садились в кресло (то самое, в котором, когда пришел, сидела Яло) и перелистывали тяжелые гладкие страницы.

Но самой его любимой вещью у Баболи был не альбом и даже не чашечка с надписью «Ленинград», из которой он пил Баболин чай с медом. Самой любимой вещью была кровать.

Это была настоящая царская кровать. Большая, в полкомнаты.

Сейчас, зайдя к Баболе, он вначале видит ее, огромную, царскую кровать.

Кровать была цела. Все завитушки, маленькие колонны, инкрустации. Всё играло и поблескивало в полоске света, падавшего сквозь прикрытые шторы.

Баболя, маленькая, сухая, почти терялась во всем этом.

Она подняла к нему свою маленькую руку:

— Сережа... Как вы повзрослели...

Это она говорила ему всегда, когда он приходил. И всегда обращалась на «вы».

Он взял ее ладонь и поцеловал. Другой рукой сжал ребро кровати. Там, где из дерева был вырезан лев.

В детстве он думал, что эту кровать Баболя привезла из сказочного Ленинграда. Может, даже прилетела на ней, как на ковре-самолете. Захватила ее из своего Русского музея, вместе с сервизом и тяжелыми серебряными вилами и ножами, которыми она учила его пользоваться.

Потом он узнал, что всё было не так. Узнал, кстати, от Яло, дочки той самой красавицы на каблуках, так и не окончившей пединститут. Вместо диплома об окончании та вернулась с крошечной Яло на руках. И уехала одна обратно, устраивать личную жизнь. Он уже стал ходить в школу и ре-

## РУССКИЙ МУЗЕЙ

же бывать у Баболи. А Яло тогда еще звали Олей, в честь прабабушки. Она и сейчас была по паспорту Ольгой. Яло, Олей наоборот, стала называть себя, посмотрев в детстве «Королевство кривых зеркал». Чтобы отличаться от Баболи, на которую и правда не была ничем похожа. Ни характером, ни манерами, ни внешностью. Баболя, особенно в молодости, была похожа на классическую статую. А Яло — на матрешку. Щекастая, большеротая, нос картошечкой. Яло с детства отказывалась пользоваться ножом и вилкой, не любила альбомы с репродукциями и Баболины рассказы о Ленинграде и его пригородах. Но когда Баболя слегла, Яло как-то ухаживала за ней. Старалась не повышать голос, выносила горшок, делала, как умела, уколы. Только когда Яло надумала перебраться в Москву, начала интересоваться, сколько Баболя еще собирается прожить и не пора ли подумать о вечном. Тащить ее с собой в Москву в планы Яло не входило. Да и не выдержит. Нетранспортабельна.

То, что Баболя жила до войны в Питере, было правдой. Но была из простой семьи, а в Русском музее работала вначале уборщицей, а потом кассиром. Повышение до кассира произошло благодаря первому Баболиному мужу, известному искусствоведу. Он, маленький сутулый итальянец, умел ценить красоту во всех ее проявлениях. Они сошлись, он стал энергично приобщать ее к прекрасному. Их семейная жизнь была наполнена его лекциями и разговорами на возвышенные темы. В тридцать восьмом его расстреляли, ее, однако, не тронули. Она продолжала жить в его маленькой квартире на Мойке, сохраняя в ней музейную чистоту и благолепие.

В начале блокады ей пришлось эвакуироваться, в дом попал снаряд. Вывозить было нечего, обстановка погибла в огне. С одним беженским чемоданом Баболя оказалась здесь, без работы, без мужчины и без утонченной жизни,

к которой привыкла. Работа скоро нашлась, бухгалтером в стройуправлении. Появились и ухажеры из не разобранных на фронт мужчин; тонкую красоту Баболи умели оценить не только искусствоведы. Труднее всего было с налаживанием культурной жизни. Еще в Ташкенте можно было найти соответствующую себе среду, но в этом городке, куда ее забросила война, царило обычное провинциальное варварство.

Вскоре к Баболе посватался один местный начальник, из евреев, бывший к тому же известным мастером-краснодеревщиком. Как сочетал он свою должность с вырезанием замечательных стульев, сундуков и шкатулок, неизвестно; такие люди тогда еще водились. Баболе засветила сытная и относительно культурная жизнь. Но она выставила условие: Семен Маркович должен был изготовить ей к свадьбе особую королевскую кровать. И Семен Маркович с энтузиазмом принялся за дело, набрал в горбиблиотеке книжек по искусству, обсуждал с Бабой первые эскизы. Баболя требовала убрать мещанских амуров, а ножки сделать в виде львиных лап. Кровать создавалась долго, как и положено шедевр, была завершена только в сорок четвертом; тогда же они оформили свои отношения. Жили небогато, но копейка в доме водилась, сбережения Баболя тратила на изысканные вещи. Родилась дочь, в семейных заботах пролетали годы. На царской постели спала одна Баболя, а Семен Маркович в углу на раскладушке; на собственном шедевре ему как-то не спалось.

В пятьдесят восьмом собрались ехать в Ленинград, Баболя волновалась перед встречей с городом своей молодости. Но поездка не состоялась: умер Семен Маркович. Баболя тихо билась головой о спинку кровати; по мордам львов и грифонов текли ее слезы. В Ленинград больше из суеверия не собиралась, хотя мучительно скучала. В счастливых снах ей снились Русский музей, ведро с тряпкой и исчез-

## РУССКИЙ МУЗЕЙ

нувшая молодость. Выйдя на пенсию, Баболя стала сидеть за скромную плату с детьми, которых ей подбрасывали соседи и знакомые. Ненавязчиво обучала их манерам, правильной речи и любви ко всему прекрасному. И рассказывала им о Ленинграде, о белых ночах, мостах, адмиралтейской игле и прочих чудесах культуры.

Он, ставший с ее легкой руки Сережей, был уже в «последнем эшелоне» ее воспитанников. Он помнил, как к ней приходили взрослые люди, приносили цветы и целовали ей руку. В девяностые почти все они разъехались; многие выбрали Ленинград, ставший уже Питером. А он остался. Пару раз не слишком удачно женился, занимался бизнесом, кафе, пельменная, еще кафе... Была квартирка в центре; был старый, колониальной постройки, дом; машина, само собой. Художник, делавший второе его кафе (тоже баболинский «кадр» и тоже потом дернул), предложил оформить интерьер в стиле ретро. Наташили старых столов, стульев; приволокли комод, развесили старые фотографии, картины. Что-то — с толкучки, что-то купили у знакомых; один стул работы Семена Марковича пожертвовала Баболя. Оглядев результат, он понял, что это как раз то, чего душе не хватало: в нем проснулся коллекционер.

Он начал жадно собирать исчезающую обстановку. Грозоздкие люстры, половики, тарелки, целые и с тонкой, как волос, трещинкой. Вышедшие сто лет назад из моды платья и пиджаки на ватине. Затвердевшие детские соски-ромашки и фотопортреты со следами неумелой ретуши.

Всё это он хранил в доме, который всё больше напоминал музей. Он так и называл его про себя — Русский музей; основные его экспонаты были задешево куплены или получены в подарок у уезжавших русских. Со временем, когда они все уедут, а оставшиеся растворятся среди местных, он откроет частный музей. В него будут приходиться люди и удивляться.



Это было второй причиной его заездов, раз в полгода, к Баболе. Он собирался приобрести всю ее обстановку, от чайного сервиза до тапок с помпонами. Но главное — кровать. Кровать, на которой он пару раз в детстве тайно лежал (детей Баболя на нее не пускала).

Он просидел у Баболи час. Длинное солнечное пятно ползло по кровати, освещая всё новые красоты. Весь час Баболя говорила о Ленинграде и о своем решении повидать его перед смертью. Ее повезут в кресле-каталке, она так решила. Уже выработала маршрут; она хочет, чтобы он его послушал. Ее провезут по Невскому, потом завернут к Екатерининскому каналу... да, он теперь имени Грибоедова. Во-да там точно зеркало, и очень забавные чайки. Их можно покормить хлебом, она кормила их раньше, и еще голубей. Голубей ели в блокаду. Она рассказывала ему про блокаду? А потом надо повернуть направо, там уже музей, ее вотчина. Там мраморная лестница, которую так легко и приятно было мыть, там картины, там великий Брюллов. А после этого можно уже умереть, правда, Сереженька?..

— А что, ее совсем нельзя свозить в Питер? — спросил он Яло, уже обуваясь в коридоре. — Я бы помог... деньгами...

Туфли никак не надевались; рожок остался где-то в комнате.

— Да ее, блин, вообще с кровати трогать нельзя, — скривилась Яло. — В больницу даже не берут, с ее диагнозом...

Он резко притянул к себе Яло. Она освободилась, поправила волосы:

— Не надо... Не сейчас.

Он не стал спрашивать когда. Попрощался, завязал шнурки и вышел. С Яло они уже договорились насчет обстановки.

Вскоре после этого Баболя позвала ее к себе в комнату. Лил дождь. Кровать казалась темной.

— Я умираю, — тихо объявила Баболя.

Яло подошла, села на край кровати.

— А как же Ленинград? — спросила, помолчав.

— Так вы же меня уже свозили... — Баболя погладила ей руку. — Всё, повидала его, теперь можно и...

Яло быстро вышла на кухню, искала сигарету. Позвонила оставшимся Баболиным воспитанникам, бросила сообщение на «Одноклассники». Еще раз позвонила Сереже, но он не отзывался. Швырнула окурок в ведро, обмоталась шарфом и пошла к Баболе.

А Сирожетдин, он же Сережа, шел в это время вдоль канала Грибоедова. Легкие снежинки летели навстречу и гасли на его лице. Внизу бесшумно качался канал, вода еще не успела схватиться льдом. Покрикивали чайки, и он улыбался их крику.

Он прилетел сюда через три дня после заезда к Баболе; выходя от Баболи, получил приглашение. Один из друзей (тот самый художник) звал его на свадьбу. В Питере, как-то получилось, он еще не бывал. В Пулково его встречали, повезли через город. Город придавил его своей красотой. До свадьбы оставалось несколько пустых дней, он гулял по центру и благодаря Баболиным рассказам отлично ориентировался. Успел познакомиться с девушкой. Нет, пока ничего серьезного, посидели в кафе, поговорили. Договорились о встрече. Она пришла. Теперь она шла рядом с ним; дома, покачиваясь, плыли вдоль ее лица. Он слегка оттопырил руку в локте, как его учила Баболя, и почувствовал, как в возникший проем легко проникла женская ладонь в перчатке.

Сообщения он эти пару дней не проверял и не отвечал на звонки; подождут.

## Сухбат АФЛАТУНИ

О том, что Баболи не стало, узнал только на свадьбе. Там пришло еще несколько «баболинских», помянули, сбившись в кружок. Стали скидываться на памятник. Он вышел и стал звонить Яло. Объяснил ситуацию, извинился. Сказал, что привезет денег. Поинтересовался насчет обстановки.

— Всё на месте. — Яло зевнула, там была уже ночь. — Приезжай скорее...

Яло не стала говорить ему насчет кровати. Приедет, узнает.

Кровати уже не было.

Когда на похоронах ее потребовалось немного сдвинуть, она рассыпалась.

Пришедших было много. Многие еще помнили Баболю. Каждый унес с собой на память по фрагменту развалившейся кровати. Яло обнаружила это не сразу, а обнаружив, махнула рукой. Эту кровать она ненавидела.

## ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ КАКТУСОВ



**О**ни стояли полукругом, как обычно; босиком и чуть по-кошачьи переминаясь на холодной плитке. Плитка была старая и выкрашенная суриком. Краска кое-где слезла, пол стал пятнистым; когда-то на нем лежал стоптанный, но крепкий половик, и стоять по утрам было теплее. Потом половик свернули и унесли, и теперь в переключку они стояли на голом полу, который даже в теплынь оставался ледяным и после влажной уборки — шершавым и липким. Правда, и теплынь, и уборки случались редко; обычно было холодно и пахло накопленной грязью.

— Петров!

— Здесь, — отзывался Петров, поджав пальцы ног.

Человек за столом что-то писал и называл следующую фамилию. На столе стояла люминесцентная лампа, светившая мертвым светом. От лампы слезились глаза, и у человека за столом тоже, и на утренних переключках он выглядел заплаканным.

Звали его Батя Виталий. По правилам его следовало называть Виталием или Виталием Ильичом, но собственное имя казалось ему чересчур нежным, и отчество тоже. Закончив переключку, он отодвинул стул и отер слезу.

— Сегодня... — говорил он, оставляя широкие пролеты между словами. — У нас... ожидается корреспондент.

Пацанва стояла молча, и только ноги легонько шевелились, точно приплясывали.

